

Федор Михайлович Достоевский

Бедные люди



Часть сборника
Чужая жена и муж под кроватью
(сборник)



Федор Достоевский

Бедные люди

«Public Domain»

1845

Достоевский Ф. М.

Бедные люди / Ф. М. Достоевский — «Public Domain», 1845

Прочитав рукопись романа "Бедные люди", Некрасов передал ее Белинскому со словами: "Новый Гоголь явился!". По форме это сентиментальная переписка между мелким чиновником Макаром Дежушкиным и Варенькой Доброселовой, грустная история их несчастной любви; по сути - глубокое социально-психологическое исследование современной писателю действительности. Автор горячо сочувствует своим обездоленным героям, чьей внутренней красоте и благородству души столь вопиюще не соответствуют условия жизни...

© Достоевский Ф. М., 1845

© Public Domain, 1845

Содержание

Бедные люди	5
I	16
II	19
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Бедные люди

Ох, уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже: читаешь... невольно задумаешься, – а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретил им писать, так-таки просто вовсе бы запретил.

Кн. В. Ф. Одоевский¹

Апреля 8-го.

Бесценная моя Варвара Алексеевна!

Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив! Вы хоть раз в жизни, упрямица, меня послушались. Вечером, часов в восемь, просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я часочек-другой люблю поспать после должности), свечку достал, готовлю бумагу, чиню перо, вдруг, невзначай, поднимаю глаза, – право, у меня сердце вот так и запрыгало! Так вы таки поняли, чего мне хотелось, чего сердечки моему хотелось! Вижу, уголок занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшочку с бальзамом, точненько так, как я вам тогда намекал; тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне из комнатки вашей смотрели, что и вы обо мне думали. И как же мне досадно было, голубчик мой, что милостивого личика-то вашего я не мог разглядеть хорошенько! Было время, когда и мы светло видели, маточка. Не радость старость, родная моя! Вот и теперь все как-то рябит в глазах; чуть поработаешь вечером, напишешь что-нибудь, наутро и глаза покраснеют, и слезы текут так, что даже совестно перед чужими бывает. Однако же в воображении моем так и засветлела ваша улыбочка, ангельчик, ваша добренькая, приветливая улыбочка; и на сердце моем было точно такое ощущение, как тогда, как я поцеловал вас, Варенька, – помните ли, ангельчик? Знаете ли, голубчик мой, мне даже показалось, что вы там мне пальчиком погрозили. Так ли, шалунья? Непременно вы это все опишите подробнее в вашем письме.

Ну, а какова наша придумочка насчет занавески вашей, Варенька? Премило, не правда ли? Сижусь ли за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли, уж знаю, что и вы там обо мне думаете, меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опустите занавеску – значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора! Подымете – значит, с добрым утром, Макар Алексеевич, каково-то вы спали, или: каково-то вы в вашем здоровье, Макар Алексеевич? Что же до меня касается, то я, слава творцу, здорова и благополучна! Видите ли, душечка моя, как это ловко придумано; и писем не нужно! Хитро, не правда ли? А ведь придумочка-то моя! А что, каков я на эти дела, Варвара Алексеевна?

Доложу я вам, маточка моя, Варвара Алексеевна, что спал я сию ночь добрым порядком, вопреки ожиданий, чем и весьма доволен; хотя на новых квартирах, с новоселья, и всегда как-то не спится; все что-то так, да не так! Встал я сегодня таким ясным соколом – любо-весело! Что это какое утро сегодня хорошее, маточка! У нас растворили окошко; солнышко светит,

¹ Эпиграф взят из рассказа В. Ф. Одоевского (1804–1869) «Живой мертвец» (1844).

птички чирикают, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживает – ну, и остальное там все было тоже соответственное; все в порядке, по-весеннему. Я даже и помечтал сегодня довольно приятно, и все об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и тревожении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастью небесных птиц, – ну, и остальное все такое же, сему же подобное; то есть я всё такие сравнения отдаленные делал. У меня там книжка есть одна, Варенька, так в ней то же самое, все такое же весьма подробно описано. Я к тому пишу, что ведь разные бывают мечтания, маточка. А вот теперь весна, так и мысли всё такие приятные, острые, затейливые, и мечтания приходят нежные; всё в розовом цвете. Я к тому и написал это все; а впрочем, я это все взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стихах и пишет –

Зачем я не птица, не хищная птица!

Ну и т. д. Там и еще есть разные мысли, да бог с ними! А вот куда это вы утром ходили сегодня, Варвара Алексеевна? Я еще и в должность не собирался, а вы, уж подлинно как птичка весенняя, порхнули из комнаты и по двору прошли такая веселенькая. Как мне-то было весело, на вас глядя! Ах, Варенька, Варенька! вы не грустите; слезами горю помочь нельзя; это я знаю, маточка моя, это я на опыте знаю. Теперь же вам так покойно, да и здоровьем вы немного поправились. Ну, что ваша Федора? Ах, какая же она добрая женищина! Вы мне, Варенька, напишите, как вы с нею там живете теперь и всем ли вы довольны? Федора-то немного ворчлива; да вы на это не смотрите, Варенька. Бог с нею! Она такая добрая.

Я уже вам писал о здешней Терезе, – тоже и добрая и верная женищина. А уж как я беспокоился об наших письмах! Как они передаваться-то будут? А вот как тут послал господь на наше счастье Терезу. Она женищина добрая, кроткая, бессловесная. Но наша хозяйка просто безжалостная. Затирает ее в работу, словно ветошку какую-нибудь.

Ну, в какую же я труппу попал, Варвара Алексеевна! Ну, уж квартира! Прежде ведь я жил таким глухарем, сами знаете: смирно, тихо; у меня, бывало, муха летит, так и муху слышно. А здесь шум, крик, гвалт! Да ведь вы еще и не знаете, как это все здесь устроено. Вообразите, примерно, длинный коридор, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, а по левую всё двери да двери, точно номера, всё так в ряд простираются. Ну, вот и нанимают эти номера, а в них по одной комнатке в каждом; живут в одной и по двое и по трое. Порядку не спрашивайте – Ноев ковчег! Впрочем, кажется, люди хорошие, всё такие образованные, ученые. Чиновник один есть (он где-то по литературной части), человек начитанный: и о Гомере, и о Брамбеусе², и о разных у них там сочинителях говорит, – обо всем говорит, – умный человек! Два офицера живут и всё в карты играют. Мичман живет; англичанин-учитель живет. Постойте, я вас потешу, маточка; опишу их в будущем письме сатирически, то есть как они

² Брамбеус – псевдоним писателя и редактора журнала «Библиотека для чтения» О. И. Сенковского (1800–1858), чьи произведения были популярны среди невзыскательных читателей.

там сами по себе, со всею подробностью. Хозяйка наша, – очень маленькая и нечистая старушонка, – целый день в туфлях да в илафровке ходит и целый день все кричит на Терезу. Я живу в кухне, или гораздо правильнее будет сказать вот как: тут подле кухни есть одна комната (а у нас, нужно вам заметить, кухня чистая, светлая, очень хорошая), комнатка небольшая, уголок такой скромный... то есть, или еще лучше сказать, кухня большая, в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит как бы еще комната, нумер сверхштатный; все просторное, удобное, и окно есть, и все, – одним словом, все удобное. Ну, вот это мой уголочек. Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был; что вот, дескать, кухня! – то есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех особняком, помаленьку живу, втихомолочку живу. Поставил я у себя кровать, стол, комод, стульев парочку, образ повесил. Правда, есть квартиры и лучшие, – может быть, есть и гораздо лучшие, – да удобство-то главное; ведь это я все для удобства, и вы не думайте, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко напротив, через двор; и двор-то узенький, вас мимоходом увидишь – все веселее мне, горемычному, да и дешевле. У нас здесь самая последняя комната, со столом, тридцать пять рублей ассигнациями³ стоит. Не по карману! А моя квартира стоит мне семь рублей ассигнациями, да стол пять целковых: вот двадцать четыре с полтиною, а прежде ровно тридцать платил, зато во многом себе отказывал; чай пивал не всегда, а теперь вот и на чай и на сахар выгадал. Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь всё народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьешь его, Варенька, для вида, для тона; а по мне все равно, я не прихотлив. Положите так, для карманных денег – все сколько-нибудь требуется – ну сапожишки какие-нибудь, платышко – много ль останется? Вот и все мое жалованье. Я-то не ропщу и доволен. Оно достаточно. Вот уже несколько лет достаточно; награждения тоже бывают. Ну, прощайте, мой ангельчик. Я там купил парочку горшков с бальзаминчиком и гераньку – недорого. А вы, может быть, и резеду любите? Так и резеда есть, вы напишите; да знаете ли, все как можно подробнее напишите. Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь и не сомневайтесь, маточка, обо мне, что я такую комнату нанял. Нет, это удобство заставило, и одно удобство соблазнило меня. Я ведь, маточка, деньги коплю, откладываю; у меня денежка водится. Вы не смотрите на то, что я такой тихонький, что, кажется, муха меня крылом перешибет. Нет, маточка, я про себя не промах, и характера совершенно такого, как прилично твердой и безмятежной души человеку. Прощайте, мой ангельчик! Расписался я вам чуть не на двух листах, а на службу давно пора. Целую ваши пальчики, маточка, и пребываю

вашим нижайшим слугою и вернейшим другом
Макаром Девушкиным.

Р. S. Об одном прошу: отвечайте мне, ангельчик мой, как можно подробнее. Я вам при сем посылаю, Варенька, фунтик конфет; так вы их

³ ... тридцать пять рублей ассигнациями – бумажными деньгами. По официальному курсу один рубль ассигнациями был равен 27 коп. серебром.

скушайте на здоровье, да ради бога обо мне не заботьтесь и не будьте в претензии. Ну, так прощайте же, маточка.

Апреля 8-го.

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Знаете ли, что придется наконец совсем поссориться с вами? Клянусь вам, добрый Макар Алексеевич, что мне даже тяжело принимать ваши подарки. Я знаю, чего они вам стоят, каких лишений и отказов в необходимости себе самому. Сколько раз я вам говорила, что мне не нужно ничего, совершенно ничего; что я не в силах вам воздать и за те благодеяния, которыми вы доселе осыпали меня. И зачем мне эти горшки? Ну, балзаминчики еще ничего, а геранька зачем? Одно словечко стоит неосторожно сказать, как, например, об этой герани, уж вы тотчас и купите; ведь верно, дорого? Что за прелесть на ней цветы! Пунсовые крестиками. Где это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я ее посредине окна поставила, на самом видном месте; на полу же поставлю скамейку, а на скамейку еще цветов поставлю; вот только дайте мне самой разбогатеть! Федора не нарадуется; у нас теперь словно рай в комнате – чисто, светло! Ну, а конфеты зачем? И право, я сейчас же по письму угадала, что у вас что-нибудь да не так – и рай, и весна, и благоухания летают, и птички чирикают. Что это, я думаю, уж нет ли тут и стихов? Ведь, право, одних стихов и недостает в письме вашем, Макар Алексеевич! И ощущения нежные, и мечтания в розовом цвете – все здесь есть! Про занавеску и не думала; она, верно, сама зацепилась, когда я горшки переставляла; вот вам!

Ах, Макар Алексеевич! Что вы там ни говорите, как ни рассчитывайте свои доходы, чтоб обмануть меня, чтобы показать, что они все сплошь идут на вас одного, но от меня не утаите и не скроете ничего. Ясно, что вы необходимого лишаетесь из-за меня. Что это вам вздумалось, например, такую квартиру нанять? Ведь вас беспокоят, тревожат; вам тесно, неудобно. Вы любите уединение, а тут и чего-чего нет около вас! А вы бы могли гораздо лучше жить, судя по жалованью вашему. Федора говорит, что вы прежде и не в пример лучше теперешнего жили. Неужели ж вы так всю свою жизнь прожили, в одиночестве, в лишениях, без радости, без дружеского приветливого слова, у чужих людей углы нанимая? Ах, добрый друг, как мне жаль вас! Щадите хоть здоровье свое, Макар Алексеевич! Вы говорите, что у вас глаза слабеют, так не пишите при свечах; зачем писать? Ваша ревность к службе и без того, вероятно, известна начальникам вашим.

Еще раз умоляю вас, не тратьте на меня столько денег. Знаю, что вы меня любите, да сами-то вы не богаты... Сегодня я тоже весело встала. Мне было так хорошо; Федора давно уже работала, да и мне работу достала. Я так обрадовалась; сходила только шелку купить, да и принялась за работу. Целое утро мне было так легко на душе, я так была весела! А теперь опять все черные мысли, грустно; все сердце изныло.

Ах, что-то будет со мною, какова-то будет моя судьба! Тяжело то, что я в такой неизвестности, что я не имею будущности, что я и предугадывать не могу о том, что со мной станется. Назад и посмотреть страшно. Там все такое горе, что сердце пополам рвется при одном воспоминании. Век буду я плакаться на злых людей, меня погубивших!

Смеркается. Пора за работу. Я вам о многом хотела бы написать, да некогда, к сроку работа. Нужно спешить. Конечно, письма хорошее дело; все не так скучно. А зачем вы сами к нам никогда не зайдете? Отчего это, Макар Алексеевич? Ведь теперь вам близко, да и время иногда у вас выгадывается свободное. Зайдите, пожалуйста! Я видела вашу Терезу. Она, кажется, такая больная; жалко было ее; я ей дала двадцать копеек. Да! чуть было не забыла: непременно напишите все, как можно подробнее, о вашем житье-бытье. Что за люди такие кругом вас, и ладно ли вы с ними живете? Мне очень хочется все это знать. Смотрите же, непременно напишите! Сегодня уж я нарочно угол загну. Ложитесь пораньше; вчера я до полночи у вас огонь видела. Ну, прощайте. Сегодня и тоска, и скучно, и грустно! Знать, уж день такой! Прощайте.

Ваша Варвара Доброселова.

Апреля 8-го.

Милостивая государыня, Варвара Алексеевна!

Да, маточка, да, родная моя, знать, уж денек такой на мою долю горемычную выдался! Да; подиутили вы надо мной, стариком, Варвара Алексеевна! Впрочем, сам виноват, кругом виноват! Не пускаться бы на старости лет с клочком волос в амуры да в экивоки... И еще скажу, маточка: чуден иногда человек, очень чуден. И, святые вы мои! о чем заговорит, занесет подчас! А что выходит-то, что следует-то из этого? Да ровно ничего не следует, а выходит такая дрянь, что убереги меня, господи! Я, маточка, я не сержусь, а так досадно только очень вспоминать обо всем, досадно, что я вам написал так фигурно и глупо. И в должность-то я пошел сегодня таким гоголем-щеголем; сияние такое было на сердце. На душе ни с того ни с сего такой праздник был; весело было! За бумаги принялся рачительно – да что вышло-то потом из этого! Уж потом только как осмотрелся, так все стало по-прежнему – и серенько и темненько. Всё те же чернильные пятна, всё те же столы и бумаги, да и я все такой же; так, каким был, совершенно таким же и остался, – так чего же тут было на Пегасе-то ездить? Да из чего это вышло-то все? Что солнышко проглянуло да небо полазоревело! от этого, что ли? Да и что за ароматы такие, когда на нашем дворе под окнами и чему-чему не случается быть! Знать, это мне все сдуру так показалось. А ведь случается же иногда заблудиться так человеку в собственных чувствах своих да занести околесную. Это ни от чего иного происходит, как от излишней, глупой горячности сердца. Домой-то я не пришел, а припелся; ни с того ни с сего голова у меня разболелась; уж это, знать, все одно к одному. (В спину, что ли, надуло мне.) Я весне-то обрадовался, дурак дураком, да в холодной шинели пошел. И в чувствах-то вы моих ошиблись, родная моя! Излияние-то их совершенно в другую сторону приняли. Отеческая приязнь одушевляла меня, единственно чистая отеческая приязнь, Варвара Алексеевна; ибо я занимаю у вас место отца родного, по горькому сиротству вашему; говорю это от души, от чистого сердца, по-родственному. Уж как бы там ни было, а я вам хоть дальний родной, хоть, по пословице, и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник, и теперь ближайший родственник и покровитель; ибо там, где вы ближе всего имели право искать покровительства и защиты, нашли вы предательство и обиду. А насчет стишков скажу я вам, маточка, что неприлично мне на старости лет в составлении стихов упражняться.

Стихи вздор! За стишечки и в школах теперь ребятишек секут... вот оно что, родная моя.

Что это вы пишете мне, Варвара Алексеевна, про удобства, про покой и про разные разности? Маточка моя, я не брезглив и не требователен, никогда лучшие теперешнего не жил; так чего же на старости-то лет привередничать? Я сыт, одет, обут; да и куда нам затеи затевать! Не графского рода! Родитель мой был не из дворянского звания и со всей-то семьей своей был беднее меня по доходу. Я не неженка! Впрочем, если на правду пошло, то на старой квартире моей все было не в пример лучше; попривольнее было, маточка. Конечно, и теперешняя моя квартира хороша, даже в некотором отношении веселее и, если хотите, разнообразнее; я против этого ничего не говорю, да все старой жаль. Мы, старые, то есть пожилые люди, к старым вещам, как к родному чему, привыкаем. Квартирка-то была, знаете, маленькая такая; стены были... ну, да что говорить! – стены были, как и все стены, не в них и дело, а вот воспоминания-то обо всем моем прежнем на меня тоску нагоняют... Странное дело – тяжело, а воспоминания как будто приятные. Даже что дурно было, на что подчас и досадовал, и то в воспоминаниях как-то очищается от дурного и предстает воображению моему в привлекательном виде. Тихо жили мы, Варенька; я да хозяйка моя, старушка, покойница. Вот и старушку-то мою с грустным чувством припоминаю теперь! Хорошая была она женщина и недорого брала за квартиру. Она, бывало, все вязала из лоскутков разных одеяла на аридных спицах; только этим и занималась. Огонь-то мы с нею вместе держали, так за одним столом и работали. Внучка у ней Маша была – ребенком еще помню ее – лет тринадцати теперь будет девочка. Такая шалунья была, веселенькая, все нас смешила; вот мы втроем так и жили. Бывало, в длинный зимний вечер присядем к круглому столу, выпьем чайку, а потом и за дело примемся. А старушка, чтоб Маше не скучно было да чтоб не шалила шалунья, сказки, бывало, начнет сказывать. И какие сказки-то были! Не то что дитя, и толковый и умный человек заслушается. Чего! сам я, бывало, закурю себе трубочку, да так заслушаюсь, что и про дело забуду. А дитя-то, шалунья-то наша, призадумается; подопрет ручонкой розовую щечку, ротик свой раскроет хорошенький и, чуть страшная сказка, так жмется, жмется к старушке. А нам-то любо было смотреть на нее; и не увидишь, как свечка нагорит, не слышишь, как на дворе подчас и вьюга злится и метель метет. Хорошо было нам жить, Варенька; и вот так-то мы чуть ли не двадцать лет вместе прожили. Да что я тут заболтался! Вам, может быть, такая материя не нравится, да и мне вспоминать не так-то легко, особенно теперь: время сумерки. Тереза с чем-то возится, у меня болит голова, да и спина немного болит, да и мысли-то такие чудные, как будто и они тоже болят; грустно мне сегодня, Варенька! Что же это вы пишете, родная моя? Как же я к вам приду? Голубчик мой, что люди-то скажут? Ведь вот через двор перейти нужно будет, наши заметят, расспрашивать станут, – толки пойдут, сплетни пойдут, делу дадут другой смысл. Нет, ангельчик мой, я уж вас лучше завтра у всенощной увижу; это будет благоразумнее и для обоих нас безвреднее. Да не взъежитесь на мне, маточка, за то, что я вам такое письмо написал; как перечел, так и вижу, что все такое бессвязное. Я, Варенька, старый, неученый человек; смолоду не выучился, а теперь и в ум ничего не пойдет, коли снова учиться начинать. Сознаюсь, маточка, не

*мастер описывать, и знаю, без чужого иного указания и пересмеивания, что если захочу что-нибудь написать позатейливее, так вздору нагорюжу. Видел вас у окна сегодня, видел, как вы стору опустили. Прощайте, прощайте, храни вас господь! Прощайте, Варвара Алексеевна.
Ваш бескорыстный друг Макар Девушкин.*

Р. С. Я, родная моя, сатиры-то ни об ком не пишу теперь. Стар я стал, матушка, Варвара Алексеевна, чтоб попусту зубы скалить! и надо мной засмеются, по русской пословице: кто, дескать, другому яму роет, так тот... и сам туда же.

Апреля 9-го.

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Ну, как вам не стыдно, друг мой и благодетель, Макар Алексеевич, так закручиниться и закапризничать. Неужели вы обиделись! Ах, я часто бываю неосторожна, но не думала, что вы слова мои примете за колкую шутку. Будьте уверены, что я никогда не осмелюсь шутить над вашими годами и над вашим характером. Случилось же это все по моей ветрености, а более потому, что ужасно скучно, а от скуки и за что не возьмешься? Я же полагала, что вы сами в своем письме хотели посмеяться. Мне ужасно грустно стало, когда я увидела, что вы недовольны мною. Нет, добрый друг мой и благодетель, вы ошибетесь, если будете подозревать меня в нечувствительности и неблагодарности. Я умею оценить в моем сердце все, что вы для меня сделали, защитив меня от злых людей, от их гонения и ненависти. Я вечно буду за вас бога молить, и если моя молитва доходна к богу и небо внемлет ей, то вы будете счастливы.

*Я сегодня чувствую себя очень нездоровую. Во мне жар и озноб попеременно. Федора за меня очень беспокоится. Вы напрасно стыдитесь ходить к нам, Макар Алексеевич. Какое другим дело! Вы с нами знакомы, и дело с концом!.. Прощайте, Макар Алексеевич. Более писать теперь не о чем, да и не могу: ужасно нездоровится. Прошу вас еще раз не сердиться на меня и быть уверену в том всегдашнем почтении и в той привязанности,
с каковыми честь имею пребыть наипреданнейшею
и покорнейшею служанницей вашей
Варварой Доброселовой.*

Апреля 12-го.

Милостивая государыня, Варвара Алексеевна!

Ах, маточка моя, что это с вами! Ведь вот каждый-то раз вы меня так пугаете. Пишу вам в каждом письме, чтоб вы береглись, чтоб вы кутались, чтоб не выходили в дурную погоду, осторожность во всем наблюдали бы, – а вы, ангельчик мой, меня и не слушаетесь. Ах, голубчик мой, ну, словно вы дитя какое-нибудь! Ведь вы слабенькие, как соломинка слабенькие, это я знаю. Чуть ветерочек какой, так уж вы и хвораете. Так остерегаться нужно, самой о себе стараться, опасностей избегать и друзей своих в горе и в уныние не вводить.

Изъявляете желание, маточка, в подробности узнать о моем житье-бытье и обо всем меня окружающем. С радостью спешу исполнить ваше желание, родная моя. Начну сначала, маточка: больше порядку будет. Во-первых, в доме у нас, на чистом входе, лестницы весьма посредственные;

особливо парадная – чистая, светлая, широкая, все чугуны да красное дерево. Зато уж про черную и не спрашивайте: винтовая, сырая, грязная, ступеньки поломаны, и стены такие жирные, что рука прилипает, когда на них опираешься. На каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поломанные, ветошки развешаны, окна повывбиты; лоханки стоят со всякою нечистью, с грязью, с сором, с яичною скорлупою да с рыбьими пузырями; запах дурной... одним словом, нехорошо.

Я уже описывал вам расположение комнат; оно, нечего сказать, удобно, это правда, но как-то в них душно, то есть не то чтобы оно пахло дурно, а так, если можно выразиться, немного гнилой, остро-усласенный запах какой-то. На первый раз впечатление невыгодное, но это все ничего; стоит только минуты две побыть у нас, так и пройдет и не почувствуешь, как все пройдет, потому что и сам как-то дурно пропахнешь, и платье пропахнет, и руки пропахнут, и все пропахнет, – ну, и привыкнешь. У нас чижики так и мрут. Мичман уж пятого покупает – не живут в нашем воздухе, да и только. Кухня у нас большая, обширная, светлая. Правда, по утрам чадно немного, когда рыбу или говядину жарят, да и нальют и намочат везде, зато уж вечером рай. В кухне у нас на веревках всегда белье висит старое; а так как моя комната недалеко, то есть почти примыкает к кухне, то запах от белья меня беспокоит немного; но ничего: поживешь и попривыкнешь.

С самого раннего утра, Варенька, у нас возня начинается, встают, ходят, стучат, – это поднимаются все, кому надо, кто в службе или так, сам по себе; все пить чай начинают. Самовары у нас хозяйские, большею частию, мало их, ну так мы все очередь держим; а кто попадет не в очередь со своим чайником, так сейчас тому голову вымоют. Вот я было попал в первый раз, да... впрочем, что же писать! Тут-то я со всеми и познакомился. С мичманом с первым познакомился; откровенный такой, все мне рассказал: про батюшку, про матушку, про сестрицу, что за тульским заседателем, и про город Кронштадт. Обещал мне во всем покровительствовать и тут же меня к себе на чай пригласил. Отыскал я его в той самой комнате, где у нас обыкновенно в карты играют. Там мне дали чаю и непременно хотели, чтоб я в азартную игру с ними играл. Смеялись ли они, нет ли надо мною, не знаю; только сами они всю ночь напролет проиграли, и когда я вошел, так тоже играли. Мел, карты, дым такой ходил по всей комнате, что глаза ело. Играть я не стал, и мне сейчас заметили, что я про философию говорю. Потом уж никто со мною и не говорил все время; да я, по правде, рад был тому. Не пойду к ним теперь; азарт у них, чистый азарт! Вот у чиновника по литературной части бывают также собрания по вечерам. Ну, у того хорошо, скромно, невинно и деликатно; все на тонкой ноге.

Ну, Варенька, замечу вам еще мимоходом, что прегадкая эсеница наша хозяйка, к тому же суцая ведьма. Вы видели Терезу. Ну, что она такое на самом-то деле? Худая, как обципаный, чахлый цыпленок. В доме и людей-то всего двое: Тереза да Фальдони⁴, хозяйский слуга. Я не знаю, может быть, у него есть и другое какое имя, только он и на это откликается; все его так зовут. Он рыжий, чухна какая-то, кривой, курносый, грубиян: все с Терезой бранится, чуть не дерутся. Вообще сказать, жить мне здесь не так чтобы

⁴ Тереза да Фальдони – ставшие нарицательными имена героев популярного сентиментального романа Н.-Ж. Леонара «Тереза и Фальдони, или Письма двух любовников, живших в Лионе» (1783).

совсем было хорошо... Чтоб этак всем разом ночью заснуть и успокоиться – этого никогда не бывает. Уж вечно где-нибудь сидят да играют, а иногда и такое делается, что зазорно рассказывать. Теперь уж я все-таки пообвык, а вот удивляюсь, как в таком содоме семейные люди уживаются. Целая семья бедняков каких-то у нашей хозяйки комнату нанимает, только не рядом с другими нумерами, а по другую сторону, в углу, отдельно. Люди смирные! Об них никто ничего и не слышит. Живут они в одной комнатке, огорожаясь в ней перегородкою. Он какой-то чиновник без места, из службы лет семь тому исключенный за что-то. Фамилья его Гориков; такой седенький, маленький; ходит в таком засаленном, в таком истертом платье, что больно смотреть; куда хуже моего! Жалкий, хилый такой (встречаемся мы с ним иногда в коридоре); колени у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит, уж от болезни, что ли, какой, бог его знает; робкий, боится всех, ходит стороночкой; уж я застенчив подчас, а этот еще хуже. Семейства у него – жена и трое детей. Старший, мальчик, весь в отца, тоже такой чахлый. Жена была когда-то собою весьма недурна, и теперь заметно; ходит, бедная, в таком жалком отребье. Они, я слышал, задолжали хозяйке; она с ними что-то не слишком ласкова. Слышал тоже, что у самого-то Горикова неприятности есть какие-то, по которым он и места лишился... процесс не процесс, под судом не под судом, под следствием каким-то, что ли – уж истинно не могу вам сказать. Бедны-то они, бедны – господи, бог мой! Всегда у них в комнате тихо и смирно, словно и не живет никто. Даже детей не слышно. И не бывает этого, чтобы когда-нибудь порезвились, поиграли дети, а уж это худой знак. Как-то мне раз, вечером, случилось мимо их дверей пройти; на ту пору в доме стало что-то не по-обычному тихо; слышу всхлипывание, потом шепот, потом опять всхлипывание, точно как будто плачут, да так тихо, так жалко, что у меня все сердце надорвалось, и потом всю ночь мысль об этих бедняках меня не покидала, так что и заснуть не удалось хорошенько.

Ну, прощайте, дружочек бесценный мой, Варенька! Описал я вам все, как умел. Сегодня я весь день все только об вас и думаю. У меня за вас, родная моя, все сердце изныло. Ведь вот, душечка моя, я вот знаю, что у вас теплого салона нет. Уж эти мне петербургские весны, ветры да дождички со снежочком, – уж это смерть моя, Варенька! Такое благорастворение воздуха, что убереги меня, господи! Не взыщите, душечка, на писании; слогу нет, Варенька, слогу нет никакого. Хоть бы какой-нибудь был! Пишу, что на ум взбредет, так, чтобы вас только поразвеселить чем-нибудь. Ведь вот если б я учился как-нибудь, дело другое; а то ведь как я учился? даже и не на медные деньги.

Ваш всегдашний и верный друг Макар Девишкин.

Апреля 25-го.

Милостивый государь, Макар Алексеевич!

Сегодня я двоюродную сестру мою Сашу встретила! Ужас! и она погибнет, бедная! Услышала я тоже со стороны, что Анна Федоровна все обо мне выведывает. Она, кажется, никогда не перестанет меня преследовать. Она говорит, что хочет простить меня, забыть все прошедшее и что непременно сама навестит меня. Говорит, что вы мне вовсе не родственник, что она ближе мне родственница, что в семейные отношения наши вы не имеете никакого права входить и что мне стыдно и неприлично жить вашей

милостыней и на вашем содержании... говорит, что я забыла ее хлеб-соль, что она меня с матушкой, может быть, от голодной смерти избавила, что она нас поила-кормила и с лишком два с половиною года на нас убыточилась, что она нам сверх всего этого долг простила. И матушку-то она пощадить не хотела! А если бы знала бедная матушка, что они со мною сделали! Бог видит!.. Анна Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастья удержать не умела, что она сама меня на счастье наводила, что она ни в чем остальном не виновата и что я сама за честь свою не умела, а может быть, и не хотела вступиться. А кто же тут виноват, боже великий! Она говорит, что господин Быков прав совершенно и что не на всякой же жениться, которая... да что писать! Жестоко слышать такую неправду, Макар Алексеевич! Я не знаю, что со мной теперь делается. Я дрожу, плачу, рыдаю; это письмо я вам два часа писала. Я думала, что она по крайней мере сознает свою вину предо мною; а она вот как теперь! Ради бога, не тревожьтесь, друг мой, единственный доброжелатель мой! Федора все преувеличивает: я не больна. Я только простудилась немного вчера, когда ходила на Волково к матушке панихиду служить. Зачем вы не пошли вместе со мною; я вас так просила. Ах, бедная, бедная моя матушка, если бы ты встала из гроба, если б ты знала, если б ты видела, что они со мною сделали!..

В. Д.

Мая 20-го.

Голубчик мой, Варенька!

Посылаю вам винограду немного, душечка; для выздоравливающей это, говорят, хорошо, да и доктор рекомендует для утоления жажды, так только единственно для жажды. Вам розанчиков намерении захотелось, маточка; так вот я вам их теперь посылаю. Есть ли у вас аппетит, душечка? – вот что главное. Впрочем, слава богу, что все прошло и кончилось и что несчастья наши тоже совершенно оканчиваются. Воздадим благодарение небу! А что до книжечек касается, то достать покамест нигде не могу. Есть тут, говорят, хорошая книжечка одна и весьма высоким слогом написанная; говорят, что хороша, я сам не читал, а здесь очень хвалят. Я просил ее для себя; обещались препроводить. Только будете ли вы-то читать? Вы у меня на этот счет привередница; трудно угодить на ваш вкус, уж я вас знаю, голубчик вы мой; вам, верно, все стихотворство надобно, воздыханий, амуров, – ну, и стихов достану, всего достану; там есть тетрадка одна переписанная.

Я-то живу хорошо. Вы, маточка, обо мне не беспокойтесь, пожалуйста. А что Федора вам наговорила на меня, так все это вздор; вы ей скажите, что она нагала, непременно скажите ей, сплетнице!.. Я нового вицмундира совсем не продавал. Да и зачем, сами рассудите, зачем продавать? Вот, говорят, мне сорок рублей серебром награждения выходит, так зачем же продавать? Вы, маточка, не беспокойтесь: она мнительна, Федора-то, она мнительна. Заживем мы, голубчик мой! Только вы-то, ангельчик, выздоравливайте, ради бога, выздоравливайте, не огорчите старика. Кто это говорит вам, что я похудел? Клевета, опять клевета! здоровехонек и растолстел так, что самому становится совестно, сыт и доволен по горло; вот только бы вы-то выздоравливали! Ну, прощайте, мой ангельчик; целую все ваши пальчики и пребываю

вашим вечным, неизменным другом
Макаром Девушкиным.

Р. С. Ах, душенька моя, что это вы опять в самом деле стали писать?.. о чем вы блажите-то! да как же мне ходить к вам так часто, маточка, как? я вас спрашиваю. Разве темнотою ночью пользуюсь; да вот теперь и ночей-то почти не бывает: время такое. Я и то, маточка моя, ангельчик, вас почти совсем не покидал во все время болезни вашей, во время беспамятства-то вашего; но и тут я и сам уж не знаю, как я все эти дела обделывал; да и то потом перестал ходить; ибо любопытствовать и расспрашивать начали. Здесь уж и без того сплетня заплелась какая-то. Я на Терезу надеюсь; она не болтлива; но все же, сами рассудите вы, маточка, каково это будет, когда они всё узнают про нас? Что-то они подумают и что они скажут тогда? Так вот вы скрепите сердечко, маточка, да переждите до выздоровления; а мы потом уж так, вне дома, где-нибудь рандеву⁵ дадим.

Июня 1-го.

Любезнейший Макар Алексеевич!

Мне так хочется сделать вам что-нибудь удобное и приятное за все ваши хлопоты и старания обо мне, за всю вашу любовь ко мне, что я решилась наконец на скуку порыться в моем комоде и отыскать мою тетрадь, которую теперь и посылаю вам. Я начала ее еще в счастливое время жизни моей. Вы часто с любопытством расспрашивали о моем прежнем житье-бытье, о матушке, о Покровском, о моем пребывании у Анны Федоровны и, наконец, о недавних несчастиях моих, и так нетерпеливо ждали прочесть эту тетрадь, где мне вздумалось, бог знает для чего, отметить кое-какие мгновения из моей жизни, что я не сомневаюсь принести вам большое удовольствие моею посылкою. Мне же как-то грустно было перечитывать это. Мне кажется, что я уже вдвое постарела с тех пор, как написала в этих записках последнюю строчку. Все это писано в разные сроки. Прощайте, Макар Алексеевич! Мне ужасно скучно теперь, и меня часто мучит бессонница. Прескучное выздоровление!

В. Д.

⁵ Свидание (фр. rendez-vous).

I

Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка. Детство мое было самым счастливым временем моей жизни. Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был управителем огромного имения князя П – го, в Т – й губернии. Мы жили в одной из деревень князя, и жили тихо, неслышно, счастливо... Я была такая резвая маленькая; только и делаю, бывало, что бегаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне никто и не заботился. Батюшка беспрерывно был занят делами, матушка занималась хозяйством; меня ничему не учили, а я тому и рада была. Бывало, с самого раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам – и нужды нет, что солнце печет, что забежишь сама не знаешь куда от селенья, исцарапаешься об кусты, разорвешь свое платье, – дома после бранят, а мне и ничего.

И мне кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между тем я еще дитею принуждена была оставить родные места. Мне было еще только двенадцать лет, когда мы в Петербург переехали. Ах, как я грустно помню наши печальные сборы! Как я плакала, когда прощалась со всем, что так было мило мне. Я помню, что я бросилась на шею батюшке и со слезами умоляла остаться хоть немножко в деревне. Батюшка закричал на меня, матушка плакала; говорила, что надобно, что дела этого требовали. Старый князь П – й умер. Наследники отказали батюшке от должности. У батюшки были кой-какие деньги в оборотах в руках частных лиц в Петербурге. Надеясь поправить свои обстоятельства, он почел необходимым свое личное здесь присутствие. Все это я узнала после от матушки. Мы здесь поселились на Петербургской стороне и прожили на одном месте до самой кончины батюшки.

Как тяжело было мне привыкать к новой жизни! Мы въехали в Петербург осенью. Когда мы оставляли деревню, день был такой светлый, теплый, яркий; сельские работы кончались; на гумнах уже громоздились огромные скирды хлеба и толпились крикливые стаи птиц; все было так ясно и весело, а здесь, при въезде нашем в город, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых! Кое-как мы устроились. Помню, все так суетились у нас, всё хлопотали, обзавожились новым хозяйством. Батюшки все не было дома, у матушки не было покойной минуты – меня позабыли совсем. Грустно мне было вставать поутру, после первой ночи на нашем новоселье. Окна наши выходили на какой-то желтый забор. На улице постоянно была грязь. Прохожие были редки, и все они так плотно кутались, всем так было холодно.

А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука. Родных и близких знакомых у нас почти не было. С Анной Федоровной батюшка был в ссоре. (Он был ей что-то должен.) Ходили к нам довольно часто люди по делам. Обыкновенно спорили, шумели, кричали. После каждого посещения батюшка делался таким недовольным, сердитым: по целым часам ходит, бывало, из угла в угол, нахмурясь, и ни с кем слова не вымолвит. Матушка не смела тогда и заговорить с ним и молчала. Я садилась куда-нибудь в уголок за книжку – смирно, тихо, пошевелиться, бывало, не смею.

Три месяца спустя по приезде нашем в Петербург меня отдали в пансион. Вот грустно-то было мне сначала в чужих людях! Все так сухо, неприветливо было, – гувернантки такие крикуньи, девицы такие насмешницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно! Часы на все положенные, общий стол, скучные учителя – все это меня сначала истерзало, измучило. Я там и спать не могла. Плачу, бывало, целую ночь, длинную, скучную, холодную ночь. Бывало, по вечерам все повторяют или учат уроки; я сижу себе за разговорами или вокабулами, шевельнуться не смею, а сама все думаю про домашний наш угол, про батюшку, про матушку, про мою старушку няню, про нянины сказки... ах, как сгрустнется! Об самой пустой вещице в

доме, и о той с удовольствием вспоминаешь. Думаешь-думаешь: вот как бы хорошо теперь было дома! Сидела бы я в маленькой комнатке нашей, у самовара, вместе с нашими; было бы так тепло, хорошо, знакомо. Как бы, думаешь, обняла теперь матушку, крепко-крепко, горячо-горячо! Думаешь-думаешь, да и заплачешь тихонько с тоски, давя в груди слезы, и нейдут на ум вокабулы. Как к завтра урока не выучишь; всю ночь снятся учитель, мадам, девицы; всю ночь во сне уроки твердишь, а на другой день ничего не знаешь. Поставят на колени, дадут одно кушанье. Я была такая невеселая, скучная. Сначала все девицы надо мной смеялись, дразнили меня, сбивали, когда я говорила уроки, щипали, когда мы в рядах шли к обеду или к чаю, жаловались на меня ни за что ни про что гувернантке. Зато, какой рай, когда няня придет, бывало, за мной в субботу вечером. Так и обниму, бывало, мою старушку в исступлении радости. Она меня оденет, укутает, дорогою не поспевает за мной, а я ей все болтаю, болтаю, рассказываю. Домой приду веселая, радостная, крепко обниму наших, как будто после десятилетней разлуки. Начнутся толки, разговоры, рассказы; со всеми здороваешься, смеешься, хохочешь, бегаешь, прыгаешь. С батюшкой начнутся разговоры серьезные, о науках, о наших учителях, о французском языке, о грамматике Ломонда – и все мы так веселы, так довольны. Мне и теперь весело вспоминать об этих минутах. Я всеми силами старалась учиться и угождать батюшке. Я видела, что он последнее на меня отдавал, а сам бился бог знает как. С каждым днем он становился все мрачнее, недовольнее, сердитее; характер его совсем испортился; дела не удавались, долгов было пропасть. Матушка, бывало, и плакать боялась, слова сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку; сделалась больная такая; все худела, худела и стала дурно кашлять. Я, бывало, приду из пансиона – всё такие грустные лица; матушка потихоньку плачет, батюшка сердится. Начнутся упреки, укоры. Батюшка начнет говорить, что я ему не доставляю никаких радостей, никаких утешений; что они из-за меня последнего лишаются, а я до сих пор не говорю по-французски; одним словом, все неудачи, все несчастья, все, все вымещалось на мне и на матушке. А как можно было мучить бедную матушку? Глядя на нее, сердце разрывалось, бывало: щеки ее ввалились, глаза впали, в лице был такой чахоточный цвет. Мне доставалось больше всех. Начиналось всегда из пустяков, а потом уж бог знает до чего доходило; часто я даже не понимала, о чем идет дело. Чего не причиталось!.. И французский язык, и что я большая дура, и что содержательница нашего пансиона нерадивая, глупая женщина; что она об нашей нравственности не заботится; что батюшка службы себе до сих пор не может найти и что грамматика Ломонда скверная грамматика, а Запольского гораздо лучше; что на меня денег много бросили по-пустому; что я, видно, бесчувственная, каменная, – одним словом, я, бедная, из всех сил билась, твердя разговоры и вокабулы, а во всем была виновата, за все отвечала! И это совсем не оттого, чтобы батюшка не любил меня: во мне и матушке он души не слышал. Но уж это так, характер был такой.

Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до крайности: он стал недоверчив, желчен; часто был близок к отчаянию, начал пренебрегать своим здоровьем, простудился и вдруг заболел, страдал недолго и скончался так внезапно, так скоропостижно, что мы все несколько дней были вне себя от удара. Матушка была в каком-то оцепенении; я даже боялась за ее рассудок. Только что скончался батюшка, кредиторы явились к нам как из земли, нахлынули гурьбою. Все, что у нас ни было, мы отдали. Наш домик на Петербургской стороне, который батюшка купил полгода спустя после переселения нашего в Петербург, был также продан. Не знаю, как уладили остальное, но сами мы остались без крова, без пристанища, без пропитания. Матушка страдала изнурительною болезнью, прокормить мы себя не могли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Федоровна. Она все говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то роднею. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень дальняя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие; соболезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении,

прибавила, что батюшка был сам виноват: что он не по силам жил, далеко забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнаружила желание сойтись с нами короче, предложила забыть обоюдные неприятности; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала панихиду по голубчике (так она выразилась о батюшке). После этого она торжественно помирилась с матушкой.

После долгих вступлений и предувещаний Анна Федоровна, изобразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась; но так как делать было нечего и иначе распорядиться никак нельзя, то и объявила наконец Анне Федоровне, что ее предложение мы принимаем с благодарностью. Как теперь помню утро, в которое мы перебирались с Петербургской стороны на Васильевский остров. Утро было осеннее, ясное, сухое, морозное. Матушка плакала; мне было ужасно грустно; грудь у меня разрывалась, душу томило от какой-то неизъяснимой, страшной тоски... Тяжкое было время.

.
.

II

Сначала, покамест еще мы, то есть я и матушка, не обжились на нашем новоселье, нам обоим было как-то жутко, дико у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила в собственном доме, в Шестой линии. В доме всего было пять чистых комнат. В трех из них жила Анна Федоровна и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась, – ребенок, сиротка, без отца и матери. Потом в одной комнате жили мы, и, наконец, в последней комнате, рядом с нами, помещался один бедный студент Покровский, жилец у Анны Федоровны. Анна Федоровна жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать; но состояние ее было загадочно, так же как и ее занятия. Она всегда суетилась, всегда была озабочена, выезжала и выходила по несколько раз в день; но что она делала, о чем заботилась и для чего заботилась, этого я никак не могла угадать. Знакомство у ней было большое и разнообразное. К ней все, бывало, гости ездили, и все бог знает какие люди, всегда по каким-то делам и на минутку. Матушка всегда уводила меня в нашу комнату, бывало, только что зазвенит колокольчик. Анна Федоровна ужасно сердилась за это на матушку и беспрерывно твердила, что уж мы слишком горды, что не по силам горды, что было бы еще чем гордиться, и по целым часам не умолкала. Я не понимала тогда этих упреков в гордости; точно так же я только теперь узнала или по крайней мере предугадываю, почему матушка не решалась жить у Анны Федоровны. Злая женщина была Анна Федоровна; она беспрерывно нас мучила. До сих пор для меня тайна, зачем именно она приглашала нас к себе? Сначала она была с нами довольно ласкова, – а потом уж и выказала свой настоящий характер вполне, как увидела, что мы совершенно беспомощны и что нам идти некуда. Впоследствии со мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова, до лести, но сначала и я терпела заодно с матушкой. Поминутно попрекала она нас; только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Посторонним людям рекомендовала нас как своих бедных родственниц, вдовицу и сироту беспомощных, которых она из милости, ради любви христианской, у себя приютила. За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами, а если мы не ели, так опять начиналась история: дескать, мы гнушаемся; не взыщите, чем богата, тем и рада; было ли бы еще у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила: говорила, что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, христианской души, сострадательной, так еще бог знает пришлось бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить. Чего-чего она не говорила! Не так горько, как отвратительно было ее слушать. Матушка поминутно плакала; здоровье ее становилось день от дня хуже, она видимо чахла, а между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне Федоровне; она поминутно говорила, что у нее не модный магазин в доме. Но нужно было одеваться, нужно было на непредвидимые расходы откладывать, нужно было непременно свои деньги иметь. Мы на всякий случай копили, надеялись, что можно будет со временем переехать куда-нибудь. Но матушка последнее здоровье свое потеряла на работе: она слабела с каждым днем. Болезнь, как червь, видимо подтачивала жизнь ее и близила к гробу. Я все видела, все чувствовала, все выстрадала; все это было на глазах моих!

Дни проходили за днями, и каждый день был похож на предыдущий. Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Федоровна мало-помалу утихала, по мере того как сама стала вполне сознавать свое владычество. Ей, впрочем, никогда и никто не думал прекословить. В нашей комнате мы были отделены от ее половины коридором, а рядом с нами, как я уже упоминала, жил Покровский. Он учил Сашу французскому и немецкому языкам, истории, географии – всем наукам, как говорила Анна Федоровна, и за то получал от нее квартиру и стол; Саша была препонятливая девочка, хотя резвая и шалунья; ей было тогда лет тринадцать. Анна Федоровна заметила матушке, что недурно бы было, если бы и я стала учиться, затем, что в пансионе меня

недоучили. Матушка с радостью согласилась, и я целый год училась у Покровского вместе с Сашей.

Покровский был бедный, очень бедный молодой человек; здоровье его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его так, по привычке только, звали у нас студентом. Жил он скромно, смирно, тихо, так что и не слышно бывало его из нашей комнаты. С виду он был такой странный; так неловко ходил, так неловко раскланивался, так чудно говорил, что я сначала на него без смеху и смотреть не могла. Саша непрерывно над ним проказничала, особенно когда он нам уроки давал. А он вдобавок был раздражительного характера, беспрестанно сердился, за каждую малость из себя выходил, кричал на нас, жаловался на нас и часто, не dokonчив урока, рассерженный уходил в свою комнату. У себя же он по целым дням сидел за книгами. У него было много книг, и всё такие дорогие, редкие книги. Он кое-где еще учил, получал кое-какую плату, так что чуть, бывало, у него заведутся деньги, так он тотчас идет себе книг покупать.

Со временем я узнала его лучше, короче. Он был добрейший, достойнейший человек, наилучший из всех, которых мне встречать удавалось. Матушка его весьма уважала. Потом он и для меня был лучшим из друзей, – разумеется, после матушки.

Сначала я, такая большая девушка, шалила заодно с Сашей, и мы, бывало, по целым часам ломаем головы, как бы раздражить и вывести его из терпения. Он ужасно смешно сердился, а нам это было чрезвычайно забавно. (Мне даже и вспоминать это стыдно.) Раз мы раздражили его чем-то чуть не до слез, и я слышала ясно, как он прошептал: «Злые дети». Я вдруг смутилась; мне стало и стыдно, и горько, и жалко его. Я помню, что я покраснела до ушей и чуть не со слезами на глазах стала просить его успокоиться и не обижаться нашими глупыми шалостями, но он закрыл книгу, не dokonчил нам урока и ушел в свою комнату. Я целый день надрывалась от раскаяния. Мысль о том, что мы, дети, своими жестокостями довели его до слез, была для меня нестерпима. Мы, стало быть, ждали его слез. Нам, стало быть, их хотелось; стало быть, мы успели его из последнего терпения вывести; стало быть, мы насильно заставили его, несчастного, бедного, о своем лютом жребии вспомнить! Я всю ночь не спала от досады, от грусти, от раскаянья. Говорят, что раскаянье облегчает душу – напротив. Не знаю, как при-
мешалось к моему горю и самолюбие. Мне не хотелось, чтобы он считал меня за ребенка. Мне тогда было уже пятнадцать лет.

С этого дня я начала мучить воображение мое, создавая тысячи планов, каким бы образом вдруг заставить Покровского изменить свое мнение обо мне. Но я была подчас робка и застенчива: в настоящем положении моем я ни на что не могла решиться и ограничивалась одними мечтаниями (и бог знает какими мечтаниями!). Я перестала только проказничать вместе с Сашей; он перестал на нас сердиться; но для самолюбия моего этого было мало.

Теперь скажу несколько слов об одном самом странном, самом любопытном и самом жалком человеке из всех, которых когда-либо мне случалось встречать. Потому говорю о нем теперь, именно в этом месте моих записок, что до самой этой эпохи я почти не обращала на него никакого внимания, — так все, касавшееся Покровского, стало для меня вдруг занимательно!

У нас в доме являлся иногда старичок, запачканный, дурно одетый, маленький, седенький, мешковатый, неловкий, одним словом странный донельзя. С первого взгляда на него можно было подумать, что он как будто чего-то стыдится, как будто ему себя самого совестно. Оттого он все как-то ежился, как-то кривлялся; такие ухватки, ужимки были у него, что можно было, почти не ошибаясь, заключить, что он не в своем уме. Придет, бывало, к нам да стоит в сенях у стеклянных дверей и в дом войти не смеет. Кто из нас мимо пройдет – я или Саша, или из слуг, кого он знал подороже к нему, – то он сейчас машет, манит к себе, делает разные знаки, и разве только когда кивнешь ему головою и позовешь его – условный знак, что в доме нет никого постороннего и что ему можно войти, когда ему угодно, – только тогда старик тихонько отворял дверь, радостно улыбался, потирал руки от удовольствия и на цыпочках прямо отправлялся в комнату Покровского. Это был его отец.

Потом я узнала подробно всю историю этого бедного старика. Он когда-то где-то служил, был без малейших способностей и занимал самое последнее, самое незначительное место на службе. Когда умерла первая его жена (мать студента Покровского), то он вздумал жениться во второй раз, и женился на мещанке. При новой жене в доме все пошло вверх дном; никому житья от нее не стало; она всех к рукам прибрала. Студент Покровский был тогда еще ребенком, лет десяти. Мачеха его возненавидела. Но маленькому Покровскому благоприятствовала судьба. Помещик Быков, знавший чиновника Покровского и бывший некогда его благодетелем, принял ребенка под свое покровительство и поместил его в какую-то школу. Интересовался же он им потому, что знал его покойную мать, которая еще в девушках была облагодетельствована Анной Федоровной и выдана ею замуж за чиновника Покровского. Господин Быков, друг и короткий знакомый Анны Федоровны, движимый великодушием, дал за невестой пять тысяч рублей приданого. Куда эти деньги пошли – неизвестно. Так мне рассказывала все это Анна Федоровна; сам же студент Покровский никогда не любил говорить о своих семейных обстоятельствах. Говорят, что его мать была очень хороша собою, и мне странно кажется, почему она так неудачно вышла замуж, за такого незначительного человека... Она умерла еще в молодых летах, года четыре спустя после замужества.

Из школы молодой Покровский поступил в какую-то гимназию и потом в университет. Господин Быков, весьма часто приезжавший в Петербург, и тут не оставил его своим покровительством. За расстроенным здоровьем своим Покровский не мог продолжать занятий своих в университете. Господин Быков познакомил его с Анной Федоровной, сам рекомендовал его, и, таким образом, молодой Покровский был принят на хлебы с уговором учить Сашу всему, чему ни потребуется.

Старик же Покровский, с горя от жестокостей жены своей, предался самому дурному пороку и почти всегда бывал в нетрезвом виде. Жена его бивала, сослала жить в кухню и до того довела, что он наконец привык к побоям и дурному обхождению и не жаловался. Он был еще не очень старый человек, но от дурных наклонностей почти из ума выжил. Единственным же признаком человеческих благородных чувств была в нем неограниченная любовь к сыну. Говорили, что молодой Покровский похож как две капли воды на покойную мать свою. Не воспоминания ли о прежней доброй жене породили в сердце погибшего старика такую беспредельную любовь к нему? Старик и говорить больше ни о чем не мог, как о сыне, и постоянно два раза в неделю навещал его. Чаще же приходиться он не смел, потому что молодой Покровский терпеть не мог отцовских посещений. Из всех его недостатков, бесспорно, первым и важнейшим было неуважение к отцу. Впрочем, и старик был подчас пренесноснейшим существом на свете. Во-первых, он был ужасно любопытен, во-вторых, разговорами и расспросами, самыми пустыми и бестолковыми, он поминутно мешал сыну заниматься и, наконец, являлся иногда в нетрезвом виде. Сын понемногу отучал старика от пороков, от любопытства и от поминутного болтания и наконец довел до того, что тот слушал его во всем, как оракула, и рта не смел разинуть без его позволения.

Бедный старик не мог надивиться и нарадоваться на своего Петеньку (так он называл сына). Когда он приходил к нему в гости, то почти всегда имел какой-то озабоченный, робкий вид, вероятно от неизвестности, как-то его примет сын, обыкновенно долго не решался войти, и если я тут случалась, так он меня минут двадцать, бывало, расспрашивал – что, каков Петенька? здоров ли он? в каком именно расположении духа и не занимается ли чем-нибудь важным? Что он именно делает? Пишет ли, или размышлениями какими занимается? Когда я его достаточно ободряла и успокаивала, то старик наконец решался войти и тихо-тихо, осторожно-осторожно отворял двери, просовывал сначала одну голову, и если видел, что сын не сердится и кивнул ему головой, то тихонько проходил в комнату, снимал свою шинельку, шляпу, которая вечно у него была измятая, дырявая, с оторванными полями, – все вешал на крюк, все делал тихо, неслышно; потом садился где-нибудь осторожно на стул и с сына глаз

не спускал, все движения его ловил, желая угадать расположение духа своего Петеньки. Если сын чуть-чуть был не в духе и старик примечал это, то тотчас приподымался с места и объяснял, «что, дескать, я так, Петенька, я на минутку. Я вот далеко ходил, проходил мимо и отдохнуть зашел». И потом безмолвно, покорно брал свою шинельку, шляпенку, опять потихоньку отворял дверь и уходил, улыбаясь через силу, чтобы удержать в душе накипевшее горе и не выказать его сыну.

Но когда сын примет, бывало, отца хорошо, то старик себя не слышит от радости. Удовольствие проглядывало в его лице, в его жестах, в его движениях. Если сын с ним заговаривал, то старик всегда приподымался немного со стула и отвечал тихо, подобострастно, почти с благоговением и всегда стараясь употреблять отборнейшие, то есть самые смешные выражения. Но дар слова ему не давался: всегда смешается и сробеет, так что не знает, куда руки девать, куда себя девать, и после еще долго про себя ответ шепчет, как бы желая поправиться. Если же удавалось отвечать хорошо, то старик охорашивался, оправлял на себе жилетку, галстух, фрак и принимал вид собственного достоинства. А бывало, до того ободрялся, до того простирали свою смелость, что тихонько вставал со стула, подходил к полке с книгами, брал какую-нибудь книжку и даже тут же прочитывал что-нибудь, какая бы ни была книга. Все это он делал с видом притворного равнодушия и хладнокровия, как будто бы он и всегда мог так хозяйничать с сыновними книгами, как будто ему и не в диковину ласка сына. Но мне раз случилось видеть, как бедняк испугался, когда Покровский попросил его не трогать книг. Он смешался, заторопился, поставил книгу вверх ногами, потом хотел поправиться, перевернул и поставил обреза наружу, улыбался, краснел и не знал, чем заглазить свое преступление. Покровский своими советами отучал понемногу старика от дурных наклонностей, и как только видел его раза три сряду в трезвом виде, то при первом посещении давал ему на прощанье по четвертачку, по полтинничку или больше. Иногда покупал ему сапоги, галстух или жилетку. Зато старик в своей обнове был горд, как петух. Иногда он заходил к нам. Приносил мне и Саше пряничных петушков, яблоков и все, бывало, толкует с нами о Петеньке. Просил нас учиться внимательно, слушаться, говорил, что Петенька добрый сын, примерный сын и вдобавок ученый сын. Тут он так, бывало, смешно нам подмигивал левым глазком, так забавно кривлялся, что мы не могли удержаться от смеха и хохотали над ним от души. Маменька его очень любила. Но старик ненавидел Анну Федоровну, хотя был пред нею тише воды, ниже травы.

Скоро я перестала учиться у Покровского. Меня он по-прежнему считал ребенком, резвой девочкой, на одном ряду с Сашей. Мне было это очень больно, потому что я всеми силами старалась заглазить мое прежнее поведение. Но меня не замечали. Это раздражало меня более и более. Я никогда почти не говорила с Покровским вне классов, да и не могла говорить. Я краснела, мешалась и потом где-нибудь в уголку плакала от досады.

Я не знаю, чем бы это все кончилось, если б сближению нашему не помогло одно странное обстоятельство. Однажды вечером, когда матушка сидела у Анны Федоровны, я тихонько вошла в комнату Покровского. Я знала, что его не было дома, и, право, не знаю, отчего мне вздумалось войти к нему. До сих пор я никогда и не заглядывала к нему, хотя мы прожили рядом уже с лишком год. В этот раз сердце у меня билось так сильно, так сильно, что, казалось, из груди хотело выпрыгнуть. Я осмотрелась кругом с каким-то особенным любопытством. Комната Покровского была весьма бедно убрана; порядка было мало. На стенах прибито было пять длинных полок с книгами. На столе и на стульях лежали бумаги. Книги да бумаги! Меня посетила странная мысль, и вместе с тем какое-то неприятное чувство досады овладело мною. Мне казалось, что моей дружбы, моего любящего сердца было мало ему. Он был учен, а я была глупа и ничего не знала, ничего не читала, ни одной книги... Тут я завистливо поглядела на длинные полки, которые ломились под книгами. Мною овладела досада, тоска, какое-то бешенство. Мне захотелось, и я тут же решила прочесть его книги, все до одной, и как можно скорее. Не знаю, может быть, я думала, что, научившись всему, что он знал, буду достойнее

его дружбы, Я бросилась к первой полке; не думая, не останавливаясь, схватила в руки первый попавшийся запыленный, старый том и, краснея, бледнея, дрожа от волнения и страха, утащила к себе краденую книгу, решившись прочесть ее ночью, у ночника, когда заснет матушка.

Но как же мне стало досадно, когда я, придя в нашу комнату, торопливо развернула книгу и увидела какое-то старое, полустгнившее, все изъеденное червями латинское сочинение. Я воротилась, не теряя времени. Только что я хотела поставить книгу на полку, послышался шум в коридоре и чьи-то близкие шаги. Я заспешила, заторопилась, но несносная книга была так плотно поставлена в ряд, что, когда я вынула одну, все остальные раздалились сами собою и сплотнились так, что теперь для прежнего их товарища не оставалось более места. Втиснуть книгу у меня не доставало сил. Однако ж я толкнула книги как только могла сильнее. Ржавый гвоздь, на котором крепилась полка и который, кажется, нарочно ждал этой минуты, чтоб сломаться, – сломался. Полка полетела одним концом вниз. Книги с шумом посыпались на пол. Дверь отворилась, и Покровский вошел в комнату.

Нужно заметить, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь хозяйничал в его владениях. Беда тому, кто дотрогивался до книг его! Судите же о моем ужасе, когда книги, маленькие, большие, всевозможных форматов, всевозможной величины и толщины, ринулись с полки, полетели, запрыгали под столом, под стульями, по всей комнате. Я было хотела бежать, но было поздно. «Кончено, думаю, кончено! Я пропала, погибла! Я балую, резвлюсь, как десятилетний ребенок; я глупая девчонка! Я большая дура!!» Покровский рассердился ужасно. «Ну вот, этого не доставало еще! – закричал он. – Ну, не стыдно ли вам так шалить!.. Уйметесь ли вы когда-нибудь?» И сам бросился подбирать книги. Я было нагнулась помогать ему. «Не нужно, не нужно, – закричал он. – Лучше бы вы сделали, если б не ходили туда, куда вас не просят». Но, впрочем, немного смягченный моим покорным движением, он продолжал уже тише, в недавнем наставническом тоне, пользуясь недавним правом учителя: «Ну, когда вы остепенитесь, когда вы одумаетесь? Ведь вы на себя посмотрите, ведь уж вы не ребенок, не маленькая девочка, ведь вам уже пятнадцать лет!» И тут, вероятно, желая поверить, справедливо ли то, что я уж не маленькая, он взглянул на меня и покраснел до ушей. Я не понимала; я стояла перед ним и смотрела на него во все глаза в изумлении. Он привстал, подошел с смущенным видом ко мне, смешался ужасно, что-то заговорил, кажется в чем-то извинялся, может быть в том, что только теперь заметил, что я такая большая девушка. Наконец, я поняла. Я не помню, что со мной тогда случилось; я смешалась, потерялась, покраснела еще больше Покровского, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.